



ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Господь Бог одарил эту удивительную женщину, Надежду Васильевну Плевицкую, урожденную Ванникову (1884 - 1940), с особой щедростью. Он дал ей три редких дара - ум, красоту и талант. Талант певицы, балерины, актрисы, литератора. А главное - талант благодарной, доброй души. Однако удел ее жизни был страшен и горек. Полвека широчайшей популярности, буквально всенародной любви, и полвека полного умышленного забвения... За время существования ее имени в истории русской культуры ее убивали трижды. Красные, белые. И... может быть, серые? Первый раз - в революцию и гражданскую, второй раз - в 1937 и 1940 годах, а в третий раз - ныне. Это уже охотники до скорых сенсаций, уподобляясь «тройкам» тридцатых годов, легко подписывающим приговор, пытаются по своему разумению втянуть ее имя в политическую паутину. Однако нельзя заполнять серыми (а то и черными) домислами белые пятна в чужой биографии. Нам же, поколению беспамятных и безбожных, следует земно поклониться нашим отцам за их муки, за их многотрудные искалеченные судьбы. Ведь человек начинается с благодарности. А незримая трагическая связь таких имен, как Ахматова - Гумилев, Цветаева - Эфрон, Плевицкая - Скоблин, Гиппиус - Мережковский, еще ждет любящего, истинного исследователя. Их жизни высоки и прекрасны, ибо талантливы и отданы за Отечество.

Вскоре в Москве выйдет книга - мемуары знаменитой певицы, ее собственное слово к читателю. Это не только ее жизнь в эмиграции, но и воспоминания о ее необычном приходе в большое искусство, о встречах с Собиновым, Шаляпиным, Рахманиновым, Станиславским, Есениным, Коровиным, Бенуа... Ведь это именно она принесла из русской глубинки и подняла на величайшую высоту - душу России - народную песню. Бедная девочка из многодетной деревенской семьи под городом Курском, что в Центральной России, порывистая и романтическая, она самостоятельно шла по ступеням восхождения к славе. Послушница в монастырском хоре, затем циркачка в шапито, артистка хора и балетной труппы (она и танцевала) в Киеве, далее - сольные концерты в Новгороде, знаменитом московском ресторане «Яр». А с начала века ее карьера исполнительницы романсов и фольклорных песен, с необычным для престижных сцен репертуаром, манерой исполнения,

голосом, становится головокружительной. Она поет в залах консерваторий, театров, царских дворцов, в салонах знати и дворянских собраний. Она становится общенародной любимцей, символом России. Трагедии родины стали трагедиями и ее личной судьбы. В период войны 1914 года она постоянно выезжает на фронты, поет солдатам, работает в лазаретах, госпиталях сестрой милосердия, санитаркой («Чаще мои песни были нужнее бинтов»). Она награждена двумя орденами.

Грянувшая в 1917-м революция, красный террор и затем гражданская война расщели ее судьбу надвое. Чудом она избегает расстрела под Курском от рук большевиков, затем проходит с Белой армией весь тяжкий крестный путь отступления до Крыма и навсегда покидает страну, становится эмигранткой («мы не эмигранты, мы изгнанники») вместе с первой волной эмиграции - цветом русской культуры.

Я порой задаюсь вопросом, что было бы с ней, осталась она в России. Ответ, по-моему, однозначен. Однако и в Париже до нее (и ее мужа) дотянулась, очевидно, из Москвы (куда она так рвалась) рука смерти.

В 1937 году французский суд по иску семьи Миллеров приговорил Надежду Плевицкую к двадцати годам каторжных работ, якобы за соучастие в похищении бывшего белого генерала Миллера, навсегда исчезнувшего одновременно с ее мужем генералом Скоблиным. Ни свидетелей, ни участников события не было. Загадочна и ее смерть в 1940 году в тюрьме городка Рени, с последующей эксгумацией ее тела гестаповцами и перезахоронением в общей могиле. Вся ее легендарная жизнь - тема для трагического романа, над которым я сейчас работаю. Как сама Россия, она была распята на кресте времени. Ее судьба символична, как судьба ее родины, чьей достойной дочерью она оставалась до последнего вздоха.

«...Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: «блаженны неплодные, и утробы неродившие...» - часто молилась она. Предлагаю вниманию читателей «Российских вестей» отрывки из книги Надежды Васильевны, моей бабушки. Эта книга (с предисловием А.Ремизова) написана ею в эмиграции.

Ирина РАКША.

«Не плачьте обо мне...»

Страницы светлой и трагической жизни звезды русской эстрады

В высшем обществе столицы каждый день той зимы приносил мне новую почетную встречу и новые знакомства, новую ступень вверх и новые радости, которые дает только прекраснейший труд художества.

В ту зиму С.И.Мамонтов познакомил меня с Ф.И.Шаляпиным.

Не забуду просторный светлый покой великого певца, светлую парчовую мебель, ослепительную скатерть на широком столе и рояль, покрытую светлым дорогим покрывалом. За той роялью Федор Иванович в первый же вечер разучил со мной песню - «Помню, я еще молодухой была».

Кроме меня, у Шаляпиных в тот вечер были С.И.Мамонтов и знаменитый художник Коровин, который носил после тифа черную шелковую ермолку.

Коровин, как сегодня помню, уморительно рассказывал про станového пристава на рыбной ловле, а Федор Иванович в свой черед рассыпался такими талантливыми пустяками, что я чуть не занемогла от хохота.

Удивительная в нем сила, в Шаляпине: если даже рассказчик чепуху, то так расскажет, что сидишь с открытым ртом, боясь проронить хотя бы одно его слово.

На прощанье Федор Великий охватил меня своей богатырской рукой, да так, что я затерялась где-то у него под мышкой. Сверху, над моей головой поплыл его незабываемый бархатистый голос, мощный соборный орган.

- Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесли, у меня таких нет, - я слобожанин, не деревенский.

И попросту, будто давно со мной дружен, он поцеловал меня.

* * *

На ту пору жизни моей мир казался мне прекрасным праздником, сверкающим огнями. Но чаще стали долетать до меня и голоса человеческого горя. Неслись ко мне с разных концов Матушки-России слезные письма с просьбами о помощи: кому деньгами, кого на казенный счет учиться устроить, кого на лечение отправить, кому пенсию выхлопотать.

Бог послал мне именитых друзей, которые ни в чем не отказывали, и складывала я все эти просьбы в конверт и адресовала так: «Петербург, Мойка, 91, Его Превосходительству члену Государственного Совета М.А.Стаховичу».

...И точно, через недельку я получала от доброго друга такое послание: «Государыня моя матушка, Надежда свет Васильевна, все, что ты мне приказать соизволила, исполнено в точности. Верный по гроб жизни, холоп твой Мишка».

Всегда так. Хлопочет, делает дела добрые и за труд не почтет, и все в шутку обратит. А делал все это он потому, что был у него добрый ум и нужду людскую он понимал. Он настоящим баринком был и любил деревню и знал мужика и песню русскую умел слушать.

Когда желал М.А.Стахович послушать песен, никогда петь не просил, а так издали подойдет: артист сам загорался и пел не по просьбе, а по вдохновению.

Однажды, в день моих именин, он такой милой хиростью обошел и Шаляпина, и пел Федор Иванович так, что я никогда не забуду.

* * *

Хороших людей посылал мне Бог на моем пути и как же не вспоминать о них. О людях, по

моему разумению, дурных я забывала тотчас, как только их по-настоящему узнавала.

Врагов, я думаю, у меня не было. Поэтому для них и места нет в моей памяти. Мне теперь кажется, что я не жила, а все радовалась.

В прошлом я принимала богатые дары от судьбы. В настоящем я живу прошлым, любовью памятью о нем, и вот в памяти моей всплывает московский вечер у К.С.Станиславского, кажется, в Каретном ряду.

С А.Вишневым я поднялась по лестнице и наверху меня встретил сам К.С.Станиславский. Он подал мне целый снопок красных гвоздик и под руку ввел меня в зал. Нас остановили рукоплескания тех, кто запретил рукоплескать самим себе в своем театре - храме с чайкой на сером занавесе. Благодарно я поклонилась всему высокому собранию художников московских.

Все волшебники московские были тут в сборе, и шумели, и веселились, точно ребята.

На широком диване, поджав ноги, сидела клавесинистка Ванда Ландовская.

Бархатное черное платье, прическа на пробор, ну в точь - старинный портрет сороковых годов, а рядом с нею сидит все Замоскворечье в лицах - наш любимый И.М.Москвин.

Я скажу, что его голос мягкий и ласковый и речь родную, чистую мне было приятнее слушать, чем клавесины Ванды Ландовской.

Кому посчастливилось бывать среди московских волшебников, тот знает, какое светлое наслаждение слушать их талантливые шутки, быстрые остроты, причудливые выдумки.

Конечно, я тогда пела. Им моя песня понятнее, чем певцам. Певцу важнее, куда направить звук, а художнику слова - важнее лепка и переживание.

В этот вечер я слышала, как Лужский сказал Вишневному:

- Ты заметил, у Плевицкой расширяются зрачки, когда поет. Это значит, что душа горит. Это и есть талант.

А Станиславский дал мне тогда один хороший совет:

- Когда у вас нет настроения петь, - сказал он, - не старайтесь насиловать себя. Лучше в таком случае смотреть на лицо, которое в публике больше всех вам понравилось. Ему и пойте, будто в зале никого, кроме вас, да его, и нет.

Совет Станиславского не пропал даром. И теперь им пользуюсь, когда пение не ладится.

* * *

М.А.Стахович, заботясь о моем образовании, присылал книги, полезные для чтения и так как был сам толстовет, то прислал мне все сочинения великого писателя.

Я добросовестно и любовно прочла «Анну Каренину», «Войну и мир» и все художественные произведения. Но после «Разрушения ада и восстановления его» читать Толстого я перестала.

После этого «Разрушения» исчез образ доброго художника, величественный, как вершина снеговой горы, и представился мне злой и желчный старик, который и Бога, и ангелов, и людей, и чертей, всех ругает,



все у него злые. Один он справедлив, один он всем судья.

В этом впечатлении я боялась признаться Михаилу Александровичу, пока он сам не спросил, продолжаю ли я чтение Толстого.

Тут я, извиняясь за невежество свое бабье, призналась, что разлюбила Толстого за его недобрую мудрость, за злой старческий ум.

К изумлению моему Михаил Александрович со мной согласился и сказал, что преклоняется перед Толстым-художником, но не признает в нем богослова.

Так я училась в те годы.

* * *

В.Д.Резников возил меня по всей России, но ее, Матушку, разве измеришь?

В Царском Селе, в присутствии Государя, я пела уже не раз.

Было приятно и легко петь Государю. Своей простотой и ласковостью Он обвораживал

так, что во времена Его бесед со мной я переставала волноваться и, нарушая правила этикета, к смущению придворных, начинала даже жестикулировать.

Беседа затягивалась. Светские, пожилые господа, утомясь ждать, начинали переминаясь с ноги на ногу.

Иной раз до меня долетал испуганный шепот: - Как она с Ним разговаривает! Это относилось к моей жестикуляции.

Но Государь, по-видимому, не замечал моих дурных манер, и Сам нет-нет, да и махнул рукой. Как горячо любил Государь все русское.

* * *

За Эйдукуном шел бой. У пограничного моста автомобиль начальника дивизии встретил отступающую артиллерию.

Генерал Левицкий остановил автомобиль и просто крикнул:

- Кто приказал отступать? Командира сюда!

Бледный командир на сером коне, выслушав крепкое приказание, повернул обратно на позицию.

Через несколько минут загрохотала наша артиллерия.

У взорванного пограничного моста начальник дивизии и поручик Шангин пошли пешком на ту сторону реки.

Я осталась у автомобиля с полным чемоданом перевязочных средств. Мимо меня проходили раненные, которые могли двигаться сами.

Мои бинты скоро иссякли: раненых было много. Ведь в одном Коротоярском полку выбрали в тот день две тысячи человек.

Я знала, что лазарет стоит не развернутым в поле и, нарушив приказание не двигаться, пошла в Эйдукунен, где развевался флаг с красным крестом. Там, стало быть, полковой околотов.

По дороге, в маленькой будке, я увидела начальника дивизии и поручика Шангина, который, не отрываясь от аппарата, передавал изнемогающему Коротоярскому полку:

- Держитесь еще несколько минут! К вам идет на помощь Валуйский полк.

Начальнику дивизии, по-видимому, некогда было на меня сердиться заслушание.

Постояв около будки, я пошла в околотов. В эту минуту орудия смолкли и наступила жуткая тишина.

Я остановилась и послушала тишину, и вдруг там, где изнемогал Коротоярский полк, зловещей частой дробью застучали пулеметы. А когда пулеметы смолкли, грянуло ура, наше русское ура. Валуйцы пошли в атаку.

О, Господи правый, сколько в этот миг пролило крови. Какую жатву собрала смерть...

В околотке, куда я пришла, врачи выбивались из сил, и руки их были в крови. Не было времени мыть.

Полковой священник, седой иеромонах, медленно и с удивительным спокойствием резал марлю для бинтов.

- А ты откуда тут взялся? - обратился он ко мне, - и не разберешь, не то ты солдат, не то ты сестра? Это хорошо, что ты пришла. Ты быстрее меня режешь марлю.

И среди крови и стонов иеромонах спокойно стал рассказывать мне, откуда он родом, какой обители и как ему трудно было в походе привыкать к скоромному.

Мне показалось, что он умышленно завел такой неподходящий разговор. «А может, он придурковатый?» - мелькнуло у меня, но, встретив взгляд иеромонаха, я поняла, что лучистое-синие глаза его таят мудрость.

Руки мои уже не дрожали и уверенно резали марлю, спокойствие передалось от монаха и мне.

Позже, через несколько месяцев, когда пробивался окруженный неприятелем полк, зловещей частой дробью застучали пулеметы. Его ранили в обе ноги. Он приказал вести себя под руки. Он пал смертью храбрых.

Уже была ночь, сырая, холодная, когда квартиры указали нам полуразрушенный дом без окон, на дороге к Сталулену. Там должен был ночевать штаб дивизии.

Сталуленен в наших руках, но стоил он тысячи жизней.

Пронизывающий ветер дул в окна, в углу оплывала свеча. Горячий чай в никелевой кружке казался мне драгоценным напитком, а солома, постланная на полу, чудесным пуховиком.

После моего первого боевого дня я спала так крепко.

И не слышала я, что поздней ночью был в штабе тот, кто был мне дорожее жизни.

Не слышала, что стоял надо мной и сна моего не потревожил.

А только после его смерти я прочла в его дневнике запись, помеченную тем днем, той ночью, - «чуть не заплакал над спящим бедным моим Дю - свернувшийся жалкий комочек на соломе, среди чужих людей».

Утром солнце осветило наше уютное убежище, и мы увидели, что спали среди мертвецов.

В сарае, в закоулках, около дома, в придорожной канаве, в саду, в поле, кругом, - лежали павшие воины.

Лежали в синих мундирах враги и в серых шинелях наши.

Страшный сон наяву! Да и в страшном сне я не видала столько мертвецов: куда ни глянь, лежат синие и серые бугорки; в лощинах больше. Они ползли туда, быть может, уже раненные, от смерти, но смерть настигала их, и теперь в лощинах неподвижные бугорки.

Предо мной лежал русский солдат в опрятной и хорошей шинели. Спокойно лежал. Будто лег отдохнуть. Только череп его, снеженный снарядом, как шапка, был отброшен к плечу: точно чаша, наполненная кровью.

Чаша страдания, чаша жертвы великой.

- Пейте от неясности, сия есть кровь Моя яже за вы и за многия изливаея...

Тот, Кто сказал это, наверное, ходил между павших и плакал.

Из походного ранца солдата виднеется уголок чистого полотенца, а на нем вышито крестиком «Ваня».

Ах, Ваня, Ваня, кто вышел это ласковое слово? Не жена ли молодая, любящая? Не любящая ли рука матери вязала твои рыбные теплые чулки?

Что нынешнюю ночь снилось тем, кто так заботливо собирал тебя в поход?

Холодное солнце дрожит в чаще, наполненной твоей кровью. Я одна над тобой. Как бы обняли тебя, Ваня, любящие руки, провозжая в невозвратный путь...

* Очевидно, имеется в виду В.А.Шангин.